

# Оглавление

Глава первая

*Эпилог*

9

Глава вторая

*Два поворота*

*серебряного ключа в “Ревизоре”*

90

Глава третья

*Мертвые душат.*

*Рельеф портрета*

160

Глава четвертая

*География прозы*

276

Глава пятая

*Мертвые воскресают.*

*Вперед — к истокам!*

411

*Следовать за мыслями великого человека  
есть наука самая занимательная.*

А.С.Пушкин. Арап Петра Великого

# Глава первая

## Эпизод

**Х**ожу и спрашиваю: — Вы случайно не знаете, как похоронили Гоголя? В смысле — погребли. На какой день, в каком виде? — Никто не знает. Литератор здесь в редкость, книг о Гоголе нет, да и в книгах на эту тему обыкновенно не пишут.

А началось с того, что один старик откуда-то слышал и помнил и поинтересовался у меня в разговоре, правда ли, что Гоголя зарыли живым, преждевременно, и это потом объявилось, чуть ли не в наши дни, когда вскрывали могилу. Говорят, он лежал на боку.

Никогда не слышал. И вдруг меня точно ударило, что всё это так и было, как старик говорит, и я это знал всегда, знал, не имея понятий на этот счет, никаких фактических сведений, но как бы подозревал, допускал, в соответствии с общим выводом из облика и творчества Гоголя. С *ним* это могло случиться. Уж очень похоже. Уж очень беспокоился Гоголь, что это произойдет, и пытался предостеречь, отвратить. Завещание, которое он предусмотрительно обнародовал за шесть лет до кончины, поверяя тайные страхи целому свету, гласило первым же пунктом:

Завещаю тела моего не погребать по тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни нахо-

дили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться... Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я возвещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, по-смертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности.

Но он был мнителен, капризен, любил преувеличивать, последние же годы, по мнению многих, страдал душевным расстройством, и его словам, естественно, могли не придать значения. Кто же поверит человеку, напечатанному завещание в книге, как афишу о собственной смерти, который после этого, словно в насмешку, в издевательство над собой, продолжает жить и жить, измышляя поправки, оправдания на свое завещание и новые заветы, капризы?..

Иногда кажется, что Гоголь умирал всю свою жизнь, и это уже всем надоело. Он специализировался на этом занятии, и сравнение с погребенными заживо вырывалось у него так часто, как если бы мысль о них неотступно его точила и мучила. Не просто — о смерти, но именно — о живом мертвце, обреченном на физический ужас насильственного погребения. “Страшную муку, видно, терпел он. — Душно мне! душно!..”

Гоголь носил в груди чувство гроба, и пророческий голос его звучал поэтому с какой-то надтреснутой, подземной глухотой, с неприличным подвизгиванием, подвыванием: “Соотечественники! страшно!..”

Несчастный вздрогнул. Ему казалось, что крышка гроба захлопнулась над ним, а стук бревен, заваливших вход его, казался стуком заступа, когда страшная земля валит-

ся на последний признак существования человека (“Кровавый бандурист”, 1832).

Подобными намеками, прогнозами — иной раз неосознанными, преподанными с комическим вывертом, в другие же моменты звучащими мрачным, прямым предзнаменованием — полон Гоголь. Сейчас приходится лишь удивляться, как, слыша это — не слышали, видя — не уразумели. Впрочем, сам он заранее дал тому объяснение. Последние десять-двенадцать лет его жизни прошли в тумане того невнятного состояния, о котором он предупреждал в завещании и которое, будучи одной из душевных тайн его, в более обширном размере отразилось на умонастроении Гоголя и его литературных трудах. В статье 1846 года “Исторический живописец Иванов” (Письмо к М.Ю.Вьельегорскому), вошедшей в “Выбранные места из переписки с друзьями”, он так описал этот переходный, как ему рисовалось, на самом же деле большой, завершающий период своей жизни и деятельности:

...Мое душевное состояние до того сделалось странно, что ни одному человеку в мире не мог бы я рассказать его понятно. Силясь открыть хотя бы одну часть себя, я видел тут же перед моими глазами, как моими же словами туманил и кружил голову слушавшему меня человеку, и горько раскаивался за одно даже желанье быть откровенным. Клянусь, бывают так трудны положенья, что их можно уподобить только положенью того человека, который находится в летаргическом сне, который видит сам, как его погребают живого, — и не может даже пошевелить пальцем и подать знака, что он еще жив. Нет, храни Бог в эти минуты переходного состояния душевного пробовать объяснять себя какому-нибудь человеку: нужно бежать к одному Богу, и ни к кому более. Против

меня стали несправедливы многие, даже близкие мне люди, и были в то же время совсем невиноваты; я бы сам сделал то же, находясь на их месте.

И это писалось в книге, более всех его сочинений претендовавшей на откровенность, на полноту понимания и доверия читательской публики, которую он лишь туманил и кружил своими идеями, воздержаться от которых было свыше его сил, как не может человек, видя, как его погребают, не попытаться растолковать окружающим, что он все-таки жив...

Гоголю задолго до смерти довелось испытать состояние, которое он так боялся пережить в могиле. Притом его летаргия, по-видимому, не только носила форму телесной болезни, но и глубоко затрагивала весь его духовный состав и протекала наяву, нравственно, литературно, публично, сопровождаемая ропотом общества, к которому взывал он, сознавая всю бесполезность и безумие этих усилий, еще глубже отдалявших его от мира живых. Реакция, последовавшая на его книгу, известна:

...Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложеньем (“Авторская исповедь”, 1847).

Всё это похоже на описанный в его же “Портрете” дурной сон во сне: пробуждаясь вместе с героем, мы всякий раз утверждаемся, что действительность снова и снова повторяет ход сновидения. Подумал ли Гоголь об этом, когда проснулся в гробу?

Внешне биография Гоголя бедна событиями и до ужаса благополучна. О ней неинтересно рассказывать: слушал, писал, лечился — сам не ведая от чего, почему.

По сравнению с Пушкиным, Лермонтовым, раздражает какое-то роковое неучастие судьбы в его человеческом жребии, какая-то неодолимая, бессмысленность прожитой Гоголем жизни с его вечными геморроями, флюсами. Даже к женщинам он не знал интереса, хоронясь сердечных волнений. Даже за границу ехал он главным образом ради климата и томился там для пользы здоровья, и никакие бури истории, гонения, приключения не посетили его одиночества. И всё ему как-то сходило с рук — не заботами Провидения, на которое сам-то Гоголь по малейшему пустяку возлагал непомерные требования, а как-то так, беспричинно, словно он не принимался в расчет и, как Башмачкин, не был замечен в своем прошлом существовании.

За “Ревизора”, который другому обошелся бы в Нерчинск, он обласкан был царской улыбкой. “Мертвые души” обеспечили ему ренту. Видно, Гоголя оставляли в покое для иного рода тревог.

Навряд ли найдется у нас еще другой литератор со столь же неровной и грозной душевной биографией, с такой же раздерганной, загнанной в кошмарный комок психологией, наружно облеченной, однако, в довольно тривиальную фабулу, подброшенную как нарочно больному с самым беспокойным характером, который, попади он нечаянно в более крутые условия, был бы растерт в лепешку на первом же перекрестке или, возможно, вообще не испытал бы тех потрясений и не подарил бы нас Гоголем в полном его развороте. Нет, он был осужден на внутренние терзания, и потому ему выпала мирная, вполне безопасная жизнь. Но во что ее превратил, как ее изувечил Гоголь, не оставив в своей душе живого места, не растравленного миражами, которые он сам же вызвал и раздражил, чтобы потом безобразно тягаться с ними, и падать, и гоношиться под выдуманными ударами!

И всё-то у него не туда, не так, как надо, нестройно, неорганично, настырно, и всё-то он усложнял, выкручивал и напускал на себя — и в горестях и в удачах, подобных некоему “чуду”, о котором извещал он Жуковского из Парижа (12 ноября 1836 г.):

Бог простер здесь надо мною покровительство и сделал чудо: указал мне теплую квартиру, на солнце, с печкой...

Экая самонадеянность!

Личность Гоголя — чуть вы приблизитесь к ней — зияет сплошной, незаживающей раной, глумливой насмешкой, прорехой на человечестве. Бестактности, несообразные со званием писателя, нелепые затеи, вопросы, вас задевающие по живому мясу, последние, кричащие всем и каждому о безумии искусства, о безжалостности морали, о несчастье родиться на свет с этим клеймом виновности, от которого самая смерть не спасает, но ставит, в назидание, несмываемое пятно, — торчат из него, как пружины из продавленного матраца. Точно он искушал кого-то, выставляя напоказ свои стигматы — опозоренное достоинство, поддельные добродетели, ложные клятвы, несбывшиеся пророчества, свой долгий нос и птичье имя — Гоголь...

Всякому теперь кажется, что он мог бы надеть много добра на месте и в должности другого, и только не может сделать его в своей должности. Это причина всех зол. Нужно подумать теперь о том всем нам, как на своем собственном месте сделать добро. Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит.

И постарался захватить чужую должность и место проповедника, отказавшись от писательской хартии.